

манических определений в современной лексикологии) // Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977. С. 320—321.

⁴ Кубрякова Е. С. Указ. соч. С. 167.

⁵ См., например, материалы сб. «The Construal of the World».

Е. С. Кубрякова, д-р филол. наук,
Институт языкоznания РАН РФ

Нужное пособие

Русская литературная классика XIX века: Учеб. пособие / Под ред. А. А. Слинько и В. А. Свительского. Воронеж: ВГУ-МИОН, 2001. — 426 с.

Вышел в свет примечательный во многих отношениях коллективный труд воронежских специалистов — «Русская литературная классика XIX века». Он заявлен как «учебное пособие», и в этом уже есть хороший повод для заинтересованного разговора.

В самом деле, почему, собственно, не «учебник для вузов»? По охвату материала, по своим функциональным возможностям эта книга может быть учебником. Однако называть ее так действительно не стоит. И не потому, что она до этого жанра «не дотягивает». Она его рамки скорее перерастает. Такое у меня сложилось впечатление, и хотелось бы разъяснить его в последующих «размышлениях над страницами.....».

Первое, что обращает на себя внимание, — достаточно пространные Введение и Заключение. Они играют далеко не формальную роль, каждое имеет принципиальную значимость. И потому и то, и другое конкретно и развернуто озаглавлены: «XIX век как историко-литературная эпоха (Введение)» и «Значение русской классики XIX в. (Заключение)». Оба они стоят того, чтобы к ним присмотреться внимательнее — любое из них вполне могло бы служить самостоятельным предметом научного отклика.

Если коротко обозначить сильные стороны Введения, то это, во-первых, его концептуальность. Во-вторых, к несомненным достоинствам Введения относится сама реализация заявленного подхода. Концепция авторского коллектива не просто декларируется и обосновывается, но активно работает.

Так, предполагается показать, что XIX столетие в истории русской литературы составило самостоятельный период, который обладал «цельностью и законченностью», имел «последователь-

ную логику развития и существенные особенности». И это не повисает в воздухе дежурной фразой, раскрытие формулировки не оставляется «на потом», когда состоится изложение основного материала. Здесь же, во Введении, под разными углами зрения следует прояснение этой самой «логики развития и существенных особенностей».

К третьей сильной стороне Введения (и пособия в целом) следует отнести хорошо выверенное соотношение учебно-просветительского и научного материала. Первый без второго утратил бы свежесть и глубину (по этому поводу еще Д. И. Писарев говорил об «усыпительном журчании»). Второй же без первого в лучшем случае попросту остался бы недоступен для многих читателей, а в худшем — обернулся бы глубокомысленной невнятницей. Удачное соотношение того и другого различимо уже в исходной концепции. Сама она, надо сказать, весьма убедительна по существу и ненавязчива в деталях. Ее ядро составляют представления о пафосе «новаторского человековедения», который многогранно выражается в развитии русской классики и обусловливает это развитие как в его динамике, так и в направлениях (и в перспективах на ХХ в.). Исходная мысль здесь не нова, и это вполне отвечает учебно-просветительским задачам пособия. Однако новым, по-научному глубоким оказывается раскрытие именно конкретных путей развития и этапов выражения человековедения.

Например, уже здесь эскизно представлены (и далее, в основных главах, находят развернутое подтверждение) разные линии в исканиях русской классики. Это, в первую очередь, линия последовательного и разноспектрного постижения человека-личности. Это и развитие литературы по линии «художественного обществоведения». Следующая в этом спектре развития — линия «народознания». Затем внимание переводится на художественное постижение национального характера. Проясняется движение литературы от позиций национального самоопределения к более широкому и комплексному национальному самосознанию. Наконец, в этой же связи (как особое выражение все того же человековедения) показаны перемены в авторских позициях на уровнях творческого пафоса и стиля, смена родов и жанров в эту эпоху.

Многие конкретные замечания здесь, при всей своей вынужденной лаконичности, далеко не тривиальны, оставляют яркое впечатление и будят, почти провоцируют мысль читателя на дополнение или возражение. Например, заслуживает внимания

трактовка во Введении «художественного гуманизма» нашей классики как специфического историко-литературного феномена. В частности, авторы Введения (В. А. Свительский, А. А. Спинько) замечают, что сегодня в литературоведении (на Западе и у нас) набирают авторитетность суждения «о кризисе гуманизма в XIX в., о пересмотре якобы уже тогда обнаруживших свою ошибочность гуманистических представлений. Достоевский выступает в этой связи художником и мыслителем, наиболее очевидно и остро выразившим этот кризис, а понятие гуманизма считается скомпрометированным и устаревшим. Однако речь может идти лишь о кризисе исторически преходящего просветительского гуманизма, отказе от тех взглядов на человека, которые уже во второй половине XIX столетия обнаружили свое прекраснодущие и схематизм» (с. 8).

Последняя поправка как будто верна. Однако вопрос о судьбе «гуманизма» в нашей культуре все-таки сложнее. Здесь, быть может, недостаточно разведены объективная (со стороны) оценка пафоса литературных исканий и субъективный (во многом оправданный) скепсис художников слова по отношению к тем явлениям, за которыми закрепилось понятие «гуманизма» — не столько в просветительском, сколько в общем расхожем значении.

Таким образом, во Введении проявляется важный признак научности в подаче материала — генерирование собственного, вполне обоснованного, но отнюдь не бесспорного мнения. Подлинная научность редко уживается с безапелляционностью, с претензиями на абсолютную правоту суждений. От этого греха авторы пособия остались свободны. И благодаря этому текст передает их личную заинтересованность материалом, энергию собственных исканий. Причем выражены оказываются искания не столько «правильных», сколько эстетически и духовно корректных подходов к наследию «золотого» для нашей культуры XIX в. — с позиций XXI столетия.

Основной материал в пособии распределен по так называемому «монографическому» принципу. Все главы, в отличие от Введения и Заключения, названы с подчеркнутым лаконизмом: «А. С. Пушкин», «А. С. Грибоедов», ..., «А. П. Чехов» — и только годы жизни указаны при каждом имени. За этим лаконизмом, однако, после столь содержательного Введения, многое можно предвкушать — и ожидания оправдываются. Здесь не место (в буквальном смысле — его не хватит) для развернутого обзора материала по всем главам пособия. Они, конечно, будут прочитаны многими, и для каждого — будь то студент или ос-

тепененный преподаватель — ознакомление с этой книгой окажется продуктивным.

Укажу хотя бы на один «организационно-методический» момент, который обусловил в конечном счете учебную, научную и практическую значимость издания. Авторский коллектив здесь образовался явно не только по формальной необходимости (написать общими усилиями одно большое пособие). Во многом авторы — единомышленники. Но каждый — со своей индивидуальностью, с личными научными и методическими предпочтениями. В результате коллективный труд получился многогранным и разностивевым.

Акценты в главах расставлены по-разному. Чаще всего предлагаются опыты рассмотрения творческой эволюции в целом — по этапам, с раскрытием логики этой эволюции (например, о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Некрасове, Чехове). Реализованы и другие, не менее эффективные возможности в подаче материала. Так, в главе о Достоевском автор вынужден, по условиям неизбежного ограничения объема, подробно остановиться лишь на двух романах — «Преступление и наказание» и «Идиот». Зато предварительно дана развернутая общая характеристика своеобразия Достоевского-художника: «Чтобы войти в мир художника и не заблудиться в маршрутах его героев <...> необходимо вооружиться верными ключами». Такие «ключи» здесь выявлены и прокомментированы. Далее они убедительно срабатывают при углублении в проблематику и образную систему двух принятых к рассмотрению романов. Несколько иная и также вполне сообразная с методическими задачами возможность использована при обращении к Толстому. Здесь короче сказано о логике творческих исканий и своеобразии метода писателя, столь же лаконично — о раннем творчестве. Затем основательно говорится о «Войне и мире». И наконец — как бы по принципу «затухания» — коротко и емко выявлена значимость «Анны Карениной» и «Воскресения».

В этой связи замечу, что в построении почти всех глав пособия вполне различим свой особенный ритм в подаче материала (от предельно широкого обзора до детального анализа отдельных стихотворений и новелл — по всему спектру). И в итоге вся книга — помимо общего композиционного членения на разделы и главы — обретает еще особый внутренний ритм. Важно, что это ритм не «усыпляющий» внимание, а напротив, скорее как будто «расшевеливающий» его. Он как бы настраивает на возможное соучастие читателя в наблюдениях и размышлений.

Что касается проблематики, то здесь также наблюдается «единство в многообразии», и обеспечено оно не только общей исходной концепцией. Почти во всех главах пособия в центре внимания оказывается проблема личности в ее художественной трактовке. Эта проблема в расхожих представлениях имеет хрестоматийный вид. Однако такое впечатление обманчиво. Здесь уместно вспомнить скептическое суждение М. Бубера, сохраняющее — увы! — свою актуальность: «С незапамятных времен человек знает о себе, что он — предмет, достойный самого пристального внимания, но именно к этому предмету <...> он как раз и боится приступить. Порой он делает такую попытку, но уже вскоре, подавленный множеством возникающих здесь проблем, отступает <...> и либо пускается в размышления о все возможных материях, за исключением человека, либо расчленяет этого человека на составные части, которыми удобно оперировать порознь, без особых хлопот» (*Бубер Мартин. Проблема человека // Два образа веры. М., 1995. С. 158*).

Заметим, что скепсис М. Бубера оправдан лишь в отношении к ложно-глубокомысленным научным и учебным штудиям. Что же касается русской литературной классики, то для нее проблема личности имела решающее значение. Думается, что фактическая универсальность и многоаспектность проблемы личности в нашей классике допускает возможность разработки и написания своего рода литературной истории XIX в. в свете этой проблемы. Более того, в пособии, о котором здесь идет речь, кажется, можно видеть уже первый — и весьма удачный — очерк такой «истории».

Нельзя утверждать, что этот коллективный труд идеален во всех отношениях. Здесь не столько недостатки или слабые стороны, сколько «преувеличения от увлечения». Связаны они, как правило, с неточными формулировками верных в целом суждений. Например, об «Анне Карениной» сказано, что этот роман Толстого «вместе с «Братьями Карамазовыми» Достоевского во многом подытоживает развитие русской художественной мысли в XIX веке, пути и перепутья «русского скитальца» — героя-искусителя» (с. 315). Такая формулировка по меньшей мере неполна, поскольку исключает из контекста «развития русской художественной мысли XIX века» Чехова.

Особого внимания заслуживает последний раздел пособия — «Значение русской классики XIX в. (Заключение)». Здесь авторы В. А. Свительский и А. А. Фаустов, отказываются от шаблонного принципа — давать «под занавес» свод приглаженных

итоговых формулировок. Напротив, я бы назвал этот раздел наиболее «рискованным», уязвимым для критики. В общих чертах здесь вполне логично рассмотрение материала выведено на перспективу его восприятия в XX столетии. В частности, дается обзор серьезных «претензий» к русской литературе «золотого века», рассматриваются поводы для полемики с нею. Справедливо замечено: «...сейчас как раз наступил тот момент, когда можно и спокойно выслушать претензии, и объективно разобраться в их сути, проверив фактами пропорции правоты и искажения. Только что начавшееся новое столетие к этому располагает. Подводя итоги <...>, имеет смысл еще раз бросить общий взгляд на эту единую историко-литературную эпоху, обозначить ее существование, хотя бы бегло проследить этапы и логику развития художественной мысли в ней и наметить перспективы дальнейшего бытия классического наследия» (с. 410).

Далее следует такое изложение материала, которое как раз позволяет говорить не только о серьезности, но и об отваге авторов этого раздела. Например, изложение логики «четырех последовательно сменяющих друг друга <...> способов переживания мира» (с. 411) едва ли можно считать общепонятным. Будущим читателям-студентам здесь не обойтись без подробных разъяснений со стороны своих наставников-преподавателей. Пожалуй, и среди последних найдется немало таких, кто затруднится с объяснениями. А между тем, — прошу понять меня правильно, — предлагаемая на рассмотрение логика чрезвычайно интересна, даже эвристична. Только вот авторы Заключения — переадресую здесь им их собственное выражение — «заговорили как бы слишком напряженным голосом...»

Не все читатели, пожалуй, согласятся и с тем сочувственным вниманием (с подробным цитированием), которое уделено на страницах Заключения М. О. Меньшикову (я, в частности, не соглашаюсь!). Он назван «проницательным жителем» XIX столетия, «еще не вступившим в одиозный период своей деятельности» (с. 415). Но достаточно ли исключительна его «проницательность», чтобы оправдать столь скрупулезное внимание к мнению человека, которого Блок называл «подлецом», Чехов — «мерзавцем», а Толстой вынужден был прекратить с ним общение?.. Указываю на это безо всяких «охранительных» побуждений и не в упрек, а лишь для того, чтобы подчеркнуть — раздел носит во многом новаторский характер. Даже в жанровом отношении это решение свежее и достойное — завершить большой учебно-методический труд образцом научно-публицистического

эссе, в котором уместны и спорные моменты, субъективные предпочтения. В конце концов, студентам предоставлена возможность познакомиться и с таким материалом, оценить его, выработать собственное к нему отношение.

Своим студентам мы в Магнитогорском университете будем горячо рекомендовать это пособие, и я уверен — не прогадаем в своих надеждах на учебно-методическое воздействие этой книги.

А. П. Власкин, д-р филол. наук,
проф. Магнитогорского университета

И еще раз о названии «Чевенгур»

Совсем недавно в журнале «Русская словесность» промелькнула статья М. Ю. Михеева с совершенно неудобоваримым названием: «Че[в]-вен[г]-гур-[т]. О смысле названия романа А. Платонова»¹. Автор статьи, не заглянув в святцы, бухнул во все колокола. Хотя статья и содержит подзаголовок «Этимологический этюд», но к этимологии она никакого отношения не имеет. Это скорее этюд, написанный в лучших традициях академика Н. Я. Марра. Во-первых, автор дает несколько «этимологических» вариантов прочтений названия Чевенгур, что для профессионалов-этимологов является четким знаком отсутствия этимологического решения в заданных параметрах. Во-вторых, этимоны, которые (по фрагментам!) во множестве предлагает М. Ю. Михеев (гур — ‘индюк, болтать’, ч-в-н — ‘чванный’, чева — ‘лапоть’ и т.д. и т.п.), совершенно не приемлемы для образной системы и поэтики А. Платонова. Интересно, как бы М. Ю. Михеев объяснил еще и этимоны «йогурт» или «гурт», если бы они пришли ему в голову, ведь концовку названия он так и подает: - гур<т>.

Еще раньше незадачливого автора платоновских «этимологий» высказался литературовед из Ульяновска А. А. Дырдин. Не отрицая михеевских «достижений», он вносит и свою «этимологическую» лепту: «Может быть, «Чевенгур» представляет собой связку старославянского слова «чеван» («смешанный») из Откровения (14, 10) с именем библейского Гура (Ура) на Евфрате — города Вавилонской башни и «смешения языков»?»². Обратимся к наиболее авторитетному словарю старославянского языка — в нем нет слова «чеван», а есть только чъванъ, т.е. то самое слово, которое потом в русском языке дало «жбан» (Старославянский словарь (по рукописям X—XI веков). М., 1994. С. 786).